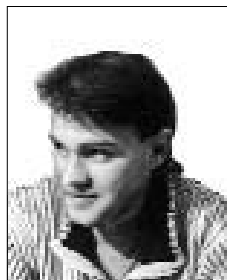


ШКОЛА: ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ



Сергей Арутюнов,
член Союза
писателей РФ

«Учительница первая моя...» — похрипывал серебристо-серый репродуктор.

Она появилась среди мельтешащих под сентябрьским ветром гладиолусов в футлярном бордовом платье и кисло улынулась. Огромного роста, плечистая, полная, сужающаяся книзу, с баранистыми кудельками и сипловато-медным диском. Представилась Верой Николаевной. И началось.

Ладные девятиклассницы взяли меня за ладошки и ввели мимо Неё на второй этаж, сунув две тоненькие книжки — «В Смольном» и что-то Чарушина. Третьим подарком, лежащим на парте, был Синий Букварь. Читать я уже умел. Шёл 1979-й.

Начальная школа состояла из моей беготни по коридорам и скучных уроков, где Её нудный голос сливался с кремовыми стенами класса, вздымаясь же, будил от дремоты, как будто требуя чего-то более высокого, чем послушание. На переменах она ловила меня за рукав в конце «рекреации» и останавливала на всём скаку, обдирая форменные погончики, ставя у стены недвижно, и затем отправляла в круг ходивших парами по кругу однокашников. Кормили манкой, холодным и вывёртывающимся из металлических тарелок лунным блином. Классная руководительница возвышалась над нами, следя, чтобы все ели хлеб, хотя его после каждого «завтрака» выбрасывали с полбака. Ей было нелегко, но она могла бы постараться быть более человеком, чем грозным идолом. Я страдал, видя, как хороша и приветлива Нина Сидоровна из «Б», как красива и благородна Майя Митрофановна из «В», и только наш бедный «А» в параллели отличался угрюмостью, вышколенной тяготностью Её пристрастия к Порядку. Я возненавидел его сразу. Минул табель, наступили дневники, октябрютские звёздочки, чистописание, рабочие прописи, но над всеми счётными палочками, ластиками и стоптанными «чешками» для «физ-ры» парил Её Порядок, а точнее, гундосение о падении нравов.

Родительские собрания состояли из Её пересказов межрайонной уголовной хроники. «А один мальчик...» — начинались они одинаково, продолжение разнилось в зависимости от наивности или злобности «мальчика». В конце рассказа, над его распахнувшейся могилой или тюремной камерой, все чувствовали себя виноватыми.

Отец отказался бывать на этих кумушкиных толковищах, скрепя сердце ходила туда мама.

На «продлёнке» Нина Сидоровна и Майя Митрофановна радовались моему рвению, немедленно возжигавшемуся до потолка от самой незатейливой похвалы. И как же я любил их за простые слова или трепание по макушке после целого дня статуйного вымораживания!

Вера Николаевна быстро поняла, что я «не то», причём глобальное Не То. Она хмыкала каждый раз, когда я старался проявить знание «иных источников». Когда на внеклассное чтение я принёс упоившего меня тогда «Василия Тёркина», Вера Николаевна фыркнула: «Ещё бы «Анну Каренину» приволок...» Она ставила тройбан, если к «заданной» вазе цветов я пририсовывал солдатика. Её не устраивали «слишком умные», она неустанно, упорно вминала меня в стену незатейливо-неприятными тычками умелой собаководши... В пионеры меня приняли в третью, самую престижную очередь, потому что «сперва отличницы, потом хорошисты-троечники» и, наконец, «мы», уличные забияки плюс один «Серёжа» из классово подозрительной семьи без пьяниц, скандалов, разводов и прочих «свинцовых мерзостей».

Ожидая гораздо лучшего, с четвёрками-пятёрками я выступил на Среднюю Тропу Обучения. Она либо должна была блистательно продолжиться Старшей



Тропой, либо бесславно оборваться «профтехобразованием», сама мысль о котором вызывала ужас. Пэтэушники, прогуливая наставшие «пары», толклись у школьного входа, наигрывая на гитарах, их вечерний вой наводил на овражный район сладкую скифскую тоску. Они отнимали мелочь, иногда били.

Месть за отсеивание из жизни, социально-генетический, нередко несправедливый, пылала торфяной непредсказуемостью народного гнева и внушительно оранжировалась приездами милиции. По приказу бородатой директрисы вчерашних школьников в школу не пускали, но они врываются и чинили мелкий разбой.

Всячески замалчиваемый отсыл молодняка на социальную свалку даром не проходил никому.

Школа была сельской. По нравам, по уровню. Советская заводская окраина сформировала безликий ком галочек и отчётов для роно, призванных объяснить кому-то Высшему, что бытие всё ещё продолжается, и в омертвевших коридорах идёт тяжкое застойное время, похожее на липкий китайский каучук.

Историчка была истеричной, математичка равнодушной, географичка мстительной, англичанка бешеной. Трудовик был знаменит тем, что бросил ученика об верстак и у того лопнула почка. Военрук поражал телесным и умственным гедонизмом, но и он один раз запер меня в ружейную комнату, откуда я едва не бросился на него со штык-ножом. Меня первый раз вообще куда-то заперли, и «олень» во мне был оскорблён до чрезвычайности. Гриша Белостоцкий, запертый за компанию со мной, стоял рядом в темноте и плакал.

Вакханалия насилия разразилась позже, в 84-м. Общество упёрлось в метафизически непролазный тупик, и его ощутили даже дети, надежды на «твёрдую руку» сменились предчувствием окончательного распада, всё чаще на лестничных площадках школы кого-то звонко лупили по щекам, валили на пол

с грохочущим ранцем, душили, избивали ногами и сумками.

Второй классной была тоже Вера. Ефимовна. Жена полковника. Она любила аккуратные туфли, замшевые заетейливые кофты и мохнатые юбки. Предостерегающая улыбка пылала на тонко растягивающихся губах, подбородок наливался кровью чуть раньше выпуклого лба, над которым венчиком вились бесцветные прядки из тщательно укладываемой «башенки». Вместе с ней на класс, сохранивший в основном начальную строевую выучку, словно обрушилась фасадная мощь всего СССР. Классные часы, начинавшиеся в чёртову рань, проводились за обсуждением тех же «ужасных случаев в районе и за его пределами» или с зачитыванием передовиц из «Правды», «громко, внятно и вслух».

Классная вела литературу. Я попытался ненавидеть и её, но не смог. Нельзя же ненавидеть нуль. Протухшие формулировки, единый технологический ритуал обработки наводил тоску. Отключиться и пялиться в безотрадное окно стало привычкой. Вокруг, чиркая по многослойно белому подоконнику, бушевали какие-то Смотры Строя и Песни, где нам непременно «нужно» было «первое место», и мы его получали, оставаясь после уроков и шлифуя «повороты в движении», следом наступали сезонные сборы макулатуры, после которых стыдили за три минимальных килограмма, превращённые в ценностный эквивалент пионера, Честь Школы бурлящим унитазным потоком обрызгивала и Честь Класса, к казённым праздникам ставились «спектакли», набитые эклектикой самодеятельных номеров, велись бесконечные линейки, на которые нужно было надевать бумажные эмблемки, пилотки и по часу стоять в зале, внимая надрывной вожатой, затевались «отрядные огоньки». Оценки мои, да и не только, к пятому классу похудели на балл-полтора, апатия тянула на



дно, но и вычитанного «для себя» дома хватало для приличного ответа, если он ещё по инерции хоть кого-то волновал.

Меня стали гнуть к земле за музыкальную школу (рано уходишь от коллектива, единоличник, почему-то даже «белоручка», позже — несоветский, «не наш» человек), хотя на «мероприятиях» старались продемонстрировать «своего музыканта». Человеческое отношение исходило от учительницы музыки и от физкультурницы, знавшей цену нещадно избиваемым индивидуалам.

И вовсе не она пыталась заставить ходить на безликие «зарницы», Дни бегуна и прочие групповые вакханалии. Каждый неприход из-за репетиции карался групповым скандалом, восстанавливающим класс против меня, да и не только.

От Веры Ефимовны исходили все без исключения инициативы «бойкота» по малейшему подозрению в неповиновении или нестандартном поведении. Так были познаны травля, выпученные глаза, траектории обильно вылетающих слюней, стучание кулаком по столу. Они обещали «сгноить меня в ПТУ», не пропускать в девятый класс, написать самую провальную характеристику, поставить на учёт в детскую комнату милиции.

Я рассмеялся им в лица. В их всевластие не верилось.

На третий день пэтэушники выловили меня во дворе. Из их неразборчивых слов стало понятно, что лично они против меня ничего не имеют. Я получил в глаз, по скуле, голове и в грудь. Сполз по забору. Домой меня отвели, всё кружилось.

Славик Бреев, прибежавший ко мне домой, сказал, что видел Веру Ефимовну, разговаривающую с этими страшными типами. По слухам, они фарцовали в центре, сделавшись после профессиональными ворами.

На школьный двор меня вёл дядя. Он вырос в бандитском районе и мог говорить с любыми людьми. Мы никого не нашли. Через день они снова ждали меня у подъезда, я протиснулся через заре-

шеченное окно кабинета ботаники, спрыгнул и побежал домой, намертво отказавшись ходить в школу.

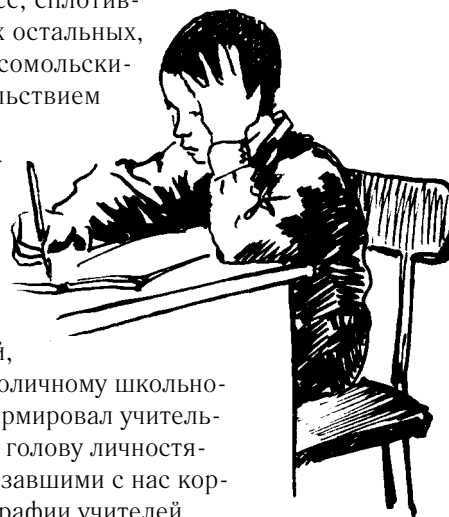
...Мне оформляли перевод через Верховный Совет СССР. Школа, где меня готовы были взять и не смотреть на «характеристику», была в другом районе, а тогдашнее крепостное право привязывало учеников к школе по месту прописки.

Безвестный могущественный депутат, чем-то обязанный дяде, подмахнул гербовую бумагу... и вот я стою в вестибюле с пакетом книг, мимо шныряют любопытные бывшие, а бывший здесь уже я, ты чего, да зачем, да плюнь, чего ты... Бородатая директриса презрительно кидает матери и мне ждатель за дверью и величественно, как служащая собеса, скрывается в проёме. Спустя три минуты входим и протягиваем бумаженцию. Она бледнеет, буреет, начинает запальчиво извиняться, падать под стол, суетиться, помогает доставать учебники из сумки, навзрыд жалея о досадном инциденте. И просит за что-то прощения... До того она никогда не отвечала на моё приветствие. И вообще ни на чьё.

Я перешёл в спецшколу. Физмат.

Она только что переехала в Орехово с Нагатинской, где простояла с тридцатых. Новое, подобающе красивое и современное здание помогало строить девятый класс, сплотивший вокруг себя всех остальных, весёлые парни с комсомольскими значками с удовольствием делали глупости и умности, умея каждую минуту шутить и быть уморительно серьёзными, решать проблемы легко и ненадуманно.

Ефим Рачевский, хорошо известный столичному школьному миру директор, формировал учительский состав в первую голову личностями, стремительно срезавшими с нас корни стереотипов. Биографии учителей





были всякие, профильной педагогики в них было чуть. В коридорах совсем не было кумача, отношение к ученикам по температуре прочно застыло на двадцати весенних градусах. Я наслаждался, мне не хотелось домой.

Значение и место директора как слабого и грозного властителя на моих глазах преобразилось в нечто совершенно отличное: старший офицер-дальневосточник с выпуклыми пронзительными глазами, безукоризненно и «вольно» одевшийся, внушал уважение не показным «единоначалием», но сугубым уважением к нам. Он мог обсуждать летучую фразу с пятиклашкой, поражал мгновенными соломоновыми вердиктами, под его мгновенно приближающимися шагами разваливались любые окостеневшие безумия формалитета. Рачевский считал школу прививкой тоталитаризма, призванной вырастить свободных людей. Теперь он ведёт программу на канале «Столица», чуть ли не единственную, посвящённую школьной проблематике. Директором он быть не перестанет никогда.

Моя третья классная, Ольга Фёдоровна Зверинцева, вела историю. Хрупкая, славная, она не нуждалась в крике, чтобы настала тишина. Её радовали те, кто «скажет больше». Длинноволосого и кожанокопиджачного литератора Александра Боборыкина поражал детский ум семиклассников, по вторникам мы собирались в его Клубе Любителей Фантастики. Природный демократ, он походил на Джона Лорда, носил только джинсы и к ним длинную узкую сумку с японским двухкассетником, с удовольствием пил пиво, курил, слушал классический арт-рок и если учил, то любить прежде скучные тексты и не судить с плеча.

Физик, Леонид Савченко, водил в горы, ездил в школу на «Яве», его жена Наталья вела музыку, биолог Сэм Магомедов задавал контрольные на воображение и эрудицию, любясь неожиданными всплесками маленьких талантов. Все ненавидели штампы. Атмосфера была доверительно-лицейской, поветрие подкреплялось лёгкими пятёрками... в ту долгожданную вольницу, прилетевшую, как Мэри Поппинс, свежей и звучной весной 1986-го. В моде были «телемосты»: «откровенные диалоги» с аудиторией. Страна играла в «демократизацию», на площадях громко, с вызовом обсуждался самиздат, звучали исповеди, перетекавшие в автобиографические мифы.

Более-менее традиционными были разве что старая почтенная завуч и Маргарита, наша вечно молодая химичка. Заливистый смех мы слышали от всех.

Через год единомышленники обленились.

Математик Джамал Курбанов проводил уроки за перегородкой, шушукаясь с историком Евгением Зверинцевым насчёт утренних газет; новый, щеголеватый и заводной завуч криво ухмылялся «новостям дня» (ах, статья Аганбегяна! заметка Абалкина! выступление Горбачёва в Германии! письмо

Нины Андреевой!!!); учителя засуетились в поисках подработок, и что-то разладилось.

К нашему выпуску устранился физик, тщетно разорялась перед нами русичка Татьяна Трусова (Уманская), высланная в Забайкалье за редактирование «Хроники текущих событий», её взращенный в застенках абсолютизм не позволял вести уроки «учебно», но она давала гораздо больше, чем знание, — себя.

У неё были любимчики. Не я. Матери она в пылу чувств заявила: «Будет хорошо, если со своим интересом к спорту Серёжа поступит в физкультурный техникум, на большее надеяться не стоит».

Школьная пора моя заканчивалась, бауманские курсы не принесли успокоения, с практикой было почти никак, тетради наши давно не проверялись, но я точно знал, что ни на что не гожусь. Афган был уже закончен, но в армию не хотелось пуще прежнего: каждая вторая газета была о дедовщине.

Аттестат был слегка подпорчен ответом на истории-обществоведении. Отпуская Прибалтику из Союза, я окончательно утратил чувство реальности и получил два одёргивающих трояка.

Пройдя городское математическое тестирование на четвёрку, я отправился по репетиторам. Первый был хитрован и преподавал в удивительной арбатской комнате с лепниной. Понять его пунктирные и довольно запутанные объяснения было сложно.

Вторая была хапугой, набивавшей по семьдесят человек в старинную залу и уходившая болтать по телефону. Третий был матёрый преподаватель из дома на Набережной, кажется, сын наркома, за три урока спокойно научивший меня не столько курсу физики, сколько спокойно решать задачи, при виде которых я начинал трястись и паниковать.

Я поступил, четыре года спустя понял: техническое во мне не прижилось. А прижилась литература.

Было с чего. **НО**